

Александр Осипов

ПАРАДИГМА ТРАНЗИТА, НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОГРАНИЧЬЕ

Abstract

The article seeks to examine the opportunities, which modern theories of neopatrimonialism provide for the analysis of ethnic relations in the former Soviet countries. Until recently, the analysis of post-Soviet ethnic politics has been largely subject to the transition paradigm and particularly to the theories of democratization. In the meantime, the transit paradigm has demonstrated its inadequacy to the analysis of post-communist transformation, and the theories of neopatrimonialism have come to the forefront as the most promising explanatory framework. Neopatrimonialism has proved its validity as a theoretic instrument for the description of the 'developing' countries of Africa, Asia and Latin America and is being increasingly employed with regard to ex-Soviet societies. The author argues that the neopatrimonialist paradigm allows for exploring such features of ethnic politics as the general loyalty of ethnic minority constituencies to the existing 'nationalizing' statehoods; the symbiosis of formal and informal institutions; the modes of legitimation pertinent to diversity policies; the patterns of public mobilization on ethnic grounds and co-optation of ethnic activists in the mainstream establishments; social networking and mobility.

Keywords: post-communism, neopatrimonialism, transit paradigm, diversity policies, patronage, traditional legitimation, political mobilization, social networks.

Статья посвящена возможностям теорий неопатримониализма для анализа этнических отношений в странах бывшего СССР, к которым относится и Большое Пограничье между Россией и Европейским Союзом. Рассматриваемые во-

просы являются частью более широкой проблемы – как анализировать постсоветские страны в качестве социальных систем и политических режимов. По мнению многих авторитетных комментаторов, нахождение адекватных способов описания постсоветских реалий пока остается серьезной исследовательской задачей (Панов, 2010; Рябов, 2010). Ее суть в том, что используемые теоретические модели и системы понятий, как правило, не отражают – полностью или частично – эмпирические реалии и не предлагают связанных и непротиворечивых объяснительных схем.

Я исхожу из допущения, что данная эпистемологическая проблема полностью относится к описанию и анализу этнических отношений, складывающихся в странах бывшего СССР. Данная статья не является попыткой предложить оригинальный и тем более цельный теоретический подход, но приглашает к обсуждению возможностей, которые предоставляет одна все более широко используемая теоретическая рамка, обозначаемая как неопатримониализм.

Здесь и далее выражения «этническая проблематика» или «этнические отношения» используются как собирательные термины, обозначающие различные практики, связанные с этнической и культурной неоднородностью общества и ее проекциями на сферу политического. Этническая проблематика охватывает, в частности, такие сегменты общественных и политических отношений, как конфигурирование нации в качестве политики и культурной общности (так называемое нациестроительство), институционализация этнических различий и групповых делений в политике и праве, политическая мобилизация и самоорганизация на этнической основе, а также публично значимые рефлексии по поводу этнической неоднородности, в том числе этнического измерения социальной мобильности и участия в общественных делах.

Отправная точка дальнейших рассуждений в том, что этническая проблематика имеет большое значение для постсоветских государств не только из-за значительной (хотя бы по формальным показателям) неоднородности населения большинства из них, но и из-за неустойчивой институционализации этой неоднородности или, из иной перспективы, неконсолидированности сообществ граждан как политий. Так, по мнению многих комментаторов, процессы, следующие за падением авторитарных и тоталитарных режимов в Центральной и Восточной Европе, отличаются от происходившего в государствах Южной Европы, Азии и Латинской Америки после ухода со сцены их собственных диктатур именно тем, что многие посткоммунистические страны столкнулись с вызовами нациестроительства и национальной консолидации, которых не было в других географических ареалах (Kuzio, 2001). При этом среди стимулов для анализа этнических отношений в постсоветском пространстве можно отметить не только специфику региона, но, напротив, сходство многих паттернов внутренней политики «управления многообразием» «сверху» и этнического активизма «снизу» в странах «развитой» демократии, с одной стороны, и в странах бывшего СССР,

с другой. И те и другие используют во многом сходные законодательные техники и сходные риторические стратегии, и если исходить из глубоких различий между существующими там и там политическими режимами и социальными системами, то подобное сходство вызывает вопросы относительно его причин и основ.

Начавшиеся в странах Центральной Европы и Евразии после падения «ленинских» режимов (т.е. режимов монопольного правления партий ленинского типа) и государственного социализма трансформации описывались и объяснялись в рамках парадигмы транзита, одним из проявлений которой являются теории демократизации. Речь может идти именно о парадигме, объединяющей ряд объяснительных моделей разной степени генерализации, а не о единой теории (Капустин, 2001; Carothers, 2002; O'Donnell, 1996).

С начала 2000-х гг. транзитологические построения по ряду причин подвергаются обоснованной критике (Капустин, 2001; Carothers, 2002). Последняя в общем виде вызвана тем, что за более чем 20 лет, прошедшие с момента распада СССР и «лагеря социализма» в целом, не было придумано адекватного способа описания характера и направленности произошедших трансформаций и тем более состояния, достигнутого этими странами. Категории «посткоммунистических» и «переходных» обществ оказываются малосодержательными (Рябов, 2010; Carothers, 2002). Во-первых, отсутствует связное объяснение разнообразия эмпирических проявлений «транзита». Направления, траектории и результаты движения разных стран оказываются различными до несопоставимости. Во-вторых, вызывает вопросы и сомнения нормативный компонент транзитологической парадигмы: конечная точка «перехода» считается заранее установленной, а предмет анализа сводится только к деталям, «драматургии» перехода, по выражению Б. Капустина (Капустин, 2001). В-третьих, нормативная заданность и механическое понимание перехода как переноса определенных институтов из стран развитой западной демократии и их внедрения в новой среде не дают инструментария для анализа происходящих процессов, так как их движущие силы, социальные условия и содержание оказываются во многом, если не целиком, вынесенными за скобки (Афанасьев, 2000: 5). Можно добавить, что парадигма «транзита» или, в данном случае, «демократизации» выступает как реинкарнация теорий модернизации (O'Donnell, 1996), дискредитированных и сошедших со сцены еще в 1960-е гг. именно в качестве теорий, но, как оказывается, не стиля мышления (Капустин, 2001). Паллиативные объяснения, сводящиеся к тому, что в основе своей в постсоветских странах были запущены процессы одинакового содержания и направленности, но по стечению обстоятельств в некоторых местах они проходят с задержками или дефектами, выглядят не особенно убедительно в силу как существенных отличий от искомого идеала, так и устойчивости утвердившихся моделей. Компромиссные категории типа «дефектной демократии» или «гибридного режима» (Панов, 2010: 27; Levitsky & Way, 2002)

при этом обладают ограниченной аналитической ценностью и не предлагают приемлемых объяснений (Афанасьев, 2000; Чайко, 2013).

Большинство аналитиков, по-разному оценивая успешность конкретных изменений в отдельных странах, сходится на том, что значительной части постсоветских государств не удалось создать устойчивую и прозрачную институциональную среду, в том числе обеспечить верховенство закона, гарантии частной собственности, политическую конкуренцию и сменяемость элит на основе широкого демократического участия (Фурман, 2007). В тех или иных формах и в разной степени во многих посткоммунистических странах произошла «приватизация» государства различными элитными группами интересов; закрытая и отчужденная от остального общества элита оказывается незаинтересованной и неспособной создать устойчивые формальные институты, предпочитая теневые договоренности и отношения (Гельман, 2010; Рябов, 2010). При этом все «гибридные» модели обнаруживают способность к выживанию и воспроизводству в долгосрочной перспективе (Фисун, 2006). Можно предполагать, что речь идет об ином качестве – об устойчивых политических режимах и социальных системах, существенно отличающихся от моделей, установившихся в странах «старой» западной демократии при наличии внешнего сходства по ряду параметров.

Едва ли не единственная теоретическая рамка, позволяющая на данном этапе удовлетворительно объяснить основные черты установившегося социального и политического порядка (при всех его вариациях в отдельных странах), связана с понятием «неопатримониализм». Теории неопатримониализма развивают концепцию патримониального господства Макса Вебера, которая описывает осуществление публичной власти в форме частного владения, что было свойственно многим обществам до стадии модерна (Вебер, 2007).

Начиная с конца 1960-х гг. все большее число исследователей адаптирует идеи М. Вебера для описания реалий новых независимых стран Африки, а затем также Латинской Америки и Азии, где номинально существующие институты рыночной экономики, парламентаризма и многопартийной системы функционируют по-иному и с иными результатами, чем в развитых капиталистических странах (Панов, 2010). Аналитики обратили внимание на такие черты этих обществ, как развитые клиентеллы, зависимость социальной мобильности и распределения ресурсов от личной или политической лояльности и принадлежности к патронажно-клиентарным группам (Roth, 1968; Theobald, 1982; Eisenstadt, 1973; Bratton & van de Walle, 1994).

Неопатримониализм можно рассматривать как общую рамку для описания патримониальных отношений в обществе модерна при номинальном существовании рыночной экономики, рациональной бюрократии и правового регулирования (Eisenstadt, 1973; Theobald, 1982; Фисун, 2006: 156–173). Иными словами, неопатримониализм предстает прежде всего как симбиоз или синтез рацио-

нально-легального управления с устойчивыми практиками осуществления власти, основанными на личных лояльностях (Эйзенштадт, 1999: 327–356). Неопатримониализм может рассматриваться шире или уже: как тип политического режима (Bratton & van de Walle, 1994: 454–455) или как встречающийся в разных контекстах тип «убеждений и практик» в политических отношениях (Roth, 1968: 197).

Неопатримониализм не идеален как объяснительная рамка; его уязвимость связана с двумя обстоятельствами. С одной стороны, клиентеллы и неформальные институты встречаются в разных обществах, в том числе странах развитой демократии (Bratton & van de Walle, 1994: 459). С другой – в неевропейских развивающихся странах институты рыночной экономики, представительной демократии, многопартийности, рациональной бюрократии и судов не обязательно являются имитациями и могут эффективно функционировать на основе формализованных правовых норм, сосуществуя с неопатримониальными отношениями (Bach, 2011; Erdmann & Engel, 2007). Соответственно, возникают вопросы относительно специфичности неопатримониальных отношений и о возможности выделения на этой основе особых общественных моделей и политических режимов. Следуя за рядом авторов, можно сделать допущение, что если ключевые характеристики конкретного общества, такие как функционирование институтов в социальных интеракциях, зависят от частных интересов в рамках отношений господства, то допустимо говорить об особых типах общественного устройства и политических режимов (Erdmann & Engel, 2007: 104–106, 114).

В последние два десятилетия неопатримониалистская рамка все чаще успешно используется для описания посткоммунистических обществ (Фисун, 2006; Hanson, 2010). Ранее, с начала 1980-х гг., из сходной теоретической перспективы удавалось также описывать советские реалии и их основные черты (Масловский, 1997: 24–25), и приоритет здесь могут оспаривать М. Восленский (Восленский, 1991; см. также: Чайко, 2013: 139), К. Джовит (Jowitt, 1983) и Т. Ригби (Rigby, 1990).

В настоящее время сформировался значительный корпус публикаций, преимущественно политологических, об особенностях постсоветских обществ. В количественном отношении заметное место среди них занимают тексты, выпущенные российскими авторами на российском же материале (см.: Афанасьев, 2000; Масловский, 1997; Холодковский, 2009). Следует отметить, что меньшая часть аналитиков применяет теории неопатримониализма буквально; большее число исследователей приходит к аналогичным выводам, используя иные, хотя и близкие по форме и содержанию, подходы и категории (Панов, 2010: 27). Разные авторы, фактически работающие в неопатримониалистской парадигме, акцентируют разные черты и компоненты постсоветских реалий, как-то: персонафицированные клиентеллы (Фисун, 2006), классовую («сословную») структуру, формируемую государственной системой извлечения и перераспределения

административной ренты¹ (Афанасьев, 2000; Кордонский, 2008), разрыв между макро- и микросоциальной интеграцией (Хлопин, 1997) и преобладание неформальных институтов (Гельман, 2010; Ledeneva, 1998), легитимации, отличные от рационально-легальной (Чайко).

Этническая проблематика, хотя и является важным компонентом общественной и политической жизни большинства постсоветских стран, остается тем сегментом общественных отношений, где не хватает адекватного языка описания. В этой тематической области неопатримониалистская парадигма (как бы она ни обозначалась) пока не нашла применения.

Изучение этнических отношений в постсоветских обществах в большинстве случаев ведется в основном из трех теоретических перспектив: во-первых, национализм и нацистроительство, во-вторых, этнические конфликты и, в-третьих, демократический транзит (Hughes & Sasse, 2002: 22). Во всех из них прослеживаются два разных, слабо отрефлектированных, но зачастую пересекающихся, дополняющих друг друга и устойчивых подхода. *Первый* представляет собой вариации уже упоминавшейся парадигмы «транзита», прилагаемые к национальному строительству и адаптации этнического плюрализма. Такой подход точнее было бы называть «реформистским». В его основе лежит представление о трансформации исходного порядка (как правило, оцениваемого негативно по тем или иным параметрам) посредством целенаправленного внедрения и развития (обычно усилиями государства) новых институтов для перехода к желаемому состоянию. Исходная ситуация может маркироваться как последствия колониального или имперского правления, либо состояние конфликта и нестабильности, либо посттоталитарное общество, нуждающееся в «реформах». В свою очередь конечный пункт может обозначаться в зависимости от местной конъюнктуры и авторских пристрастий как полноценное «национальное государство» (Kuzio, 2001), «полиэтническая гражданская нация» (Тишков, 2013), «демократическая система регулирования межнациональных отношений» и т.д. (Абдулатипов, 2007; Антонюк, 2005). Переход в свою очередь награждается такими определениями, как «национальное возрождение», «национальная консолидация» или «внедрение демократических стандартов национальной политики» и т.п. Во всех случаях предлагается механистический и нормативно нагруженный подход. Вопросы о состоянии и характеристиках общества подменяются обсуждением деталей перехода, траектория которого воспринимается как данность, а исходный и конечный пункты описываются в соответствии с априорно принятой нормативной моделью. Сам же процесс трансформации видится как освоение идей и институтов, привнесенных внешним по отношению к данному обществу авторитетом (правительством или «международным сообществом»).

С подачи западных авторов в постсоветских странах в 1990-е – 2000-е гг. все более заметное внимание уделялось внешнему воздействию, а именно внедрению норм по «защите меньшинств», предлагаемых международными орга-

низациями, и импорту соответствующих механизмов из развитых капиталистических стран (см., напр.: Kymlicka & Opalski, 2001). Среди других вариантов следует отметить публикации, посвященные противодействию расизму или ксенофобии (Шнирельман, 2011); в этих случаях, как правило, также речь идет о сопоставлении тех или иных проявлений с заимствованной извне нормативной моделью. В качестве своеобразного варианта использования транзитной парадигмы в этнических исследованиях можно рассматривать работы, посвященные национализму и национальным движениям (Дробижева и др., 1996). Многие из них пишутся из перспективы сравнения этнических организаций с идеальной моделью «гражданского общества», либо речь идет о вычислении «демократического потенциала» национализма в рамках демократических реформ и о том, насколько массовая мобилизация на этнической основе вписывается в рамки демократического участия.

Второй подход основан на дискурсивном тренде, который Р. Брубейкер обозначил как «группизм» (Brubaker, 2002: 163). Он предполагает не критичное отношение к этническим группам как к самоочевидным структурным единицам общества и субъектам социальных отношений, мотивации и модели поведения которых универсальны и инвариантны. Такой подход вполне совместим с транзитной или реформистской парадигмой. Если в конкретных публикациях отсутствует телеологический уклон, если задачи общественных трансформаций не акцентируются, то описание чаще всего делается из перспектив регулирования конфликта между этническими общностями (см., напр.: Аствацатурова, 2002) или, напротив, управления этническими отношениями, иными словами, инкорпорации проблемных категорий населения в существующую систему управления (см., напр.: Абдулатипов, 2007).

В результате оказывается, что попытки анализировать этнические отношения в контексте конкретных обществ с учетом присущей именно им (а не абстрактным моделям) специфики социальной мобильности и политического участия в постсоветских странах крайне редки. Единичные публикации, опирающиеся на конкретные эмпирические исследования (чаще миграционных процессов и этнических организаций), количественно пока уступают текстам, предлагающим чисто спекулятивный анализ (Дмитриев, 2006) или рассмотрение официальной нормативной базы (Зорин, 2011), общественного мнения (Дробижева и др., 1996) и идеологических процессов (Тишков, 2013). При поиске оценок социального значения этнических делений или политической роли этничности в имеющейся литературе чаще можно встретить, скорее, априорные суждения, опирающиеся на представления об этнических группах как вертикально интегрированных корпорациях (Туровский, 2005) либо же своего рода классах, занимающих определенную – формально и неформально – нишу в системе распределения благ (Кордонский, 2008; Афанасьев, 2000²). Однако эмпирических данных, которые позволяли бы оценивать данные модели, мало, а те, что имеются, скорее,

их опровергают, поскольку социальные деления не совпадают с этническими (см.: Дробижева, 2002). В целом можно утверждать, что возможные корреляции показателей социальной мобильности и общественного участия с этническими различиями в постсоветском пространстве остаются неизученными. В этом отношении пока не приходится говорить о принципиальных различиях между местными авторами, работающими непосредственно в постсоветских странах, и зарубежными коллегами из Западной Европы и Северной Америки.

В таких условиях пока приходится только оценивать приоритетные направления и возможности дальнейших исследований, посвященных роли этничности и этнических различий в социальных и политических системах постсоветских государств. Можно предположить, что вполне многообещающими, как и в исследованиях советского общества, остаются две общие перспективы: изучение режимов (т.е. элитной динамики, способов правления и форм легитимации) и институтов (устойчивых и воспроизводящихся паттернов социального взаимодействия). Предварительно можно показать, в каких областях и применительно к каким феноменам неопатримониализм пригоден для изучения и описания этнических отношений.

Основной сущностной чертой неопатримониального общества и неопатримониального политического режима являются сети патронажно-клиентских отношений³, внутри которых происходит обмен ресурсов на лояльность. Здесь для исследователя возникает соблазн реифицировать этнические группы и видеть в них оболочки для клиентел, формируемых на этнической почве, иными словами, априори усматривать в этничности основу для «кланов» и «общин». В постсоветском пространстве можно найти иллюстрации подобного, но они локальны и ограничены числом. Чаще всего в литературе упоминаются российский Северный Кавказ, где социальная мобильность определяется принадлежностью человека к аскриптивной категории (что внешне выглядит как этническое происхождение) (Ware & Kisriev, 2010) или сети мигрантов (Мукомель, 2005; ред. Зайончковская, 2009). Можно было бы рассматривать в качестве аналогичного феномена самоорганизацию крымских татар в рамках курултая и меджлиса (Бекірова, 2011), но о том, как реально формируются и функционируют эти организации, пока накоплено недостаточно данных.

Гораздо чаще в постсоветском пространстве прослеживаются ситуации, в которых, несмотря на сложный этнический состав населения, различия социальных позиций и предположительно политических интересов разных этнических групп, политического разделения и мобилизации по этническим линиям не наблюдается. Скорее, напротив, чаще встречается политическая пассивность и конформизм, а активизм принимает более сложные конфигурации, нежели объединение по этническому признаку.

В этом отношении интересен феномен такого региона, как Приднестровье, или Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). Население региона по-

лиэтнично, и основные этнические группы – молдаване, русские и украинцы – имеют примерно равный демографический «вес». По формальным причинам можно было бы ожидать если не внутренней конфронтации в регионе, то серьезного расхождения политических предпочтений между, по крайней мере, молдаванами и славянским населением. В регионе конкурируют разные исторические нарративы, а многократно провозглашенная официально идея присоединения к России предположительно должна вызывать к себе неодинаковое отношение со стороны разных этнических групп. Разное отношение можно было также ожидать к возникновению и развитию независимой Молдовы и к вооруженному конфликту из-за статуса региона (Поцелуев, 2013: 91). Хотя три основных языка региона – молдавский, русский и украинский – провозглашены в Конституции и законодательстве ПМР официальными и равными, доминирует русский язык, а два других остаются в маргинальном положении (Hammarberg, 2013: 35–36). При этом область функционирования молдавского языка оказывается уже, чем в Молдавской ССР перед распадом Советского Союза, а именно маргинализация молдавского/румынского языка послужила в свое время, в конце 1980-х, мощным стимулом для разворачивания молдавского национального движения. Стоит отметить и относительно слабую статистическую представленность молдаван в органах государственной власти ПМР, в том числе на выборных позициях (Protsyk, 2009).

На практике же приднестровская государственность, несмотря на отсутствие международного признания и на потенциальные внутренние расколы, показывает способность к выживанию и устойчивость на протяжении более двадцати лет. Одной из причин этой устойчивости, как подтверждает большинство экспертов, является поддержка приднестровской независимости всеми основными этническими группами (Blakkisrud & Kolsto, 2011). При этом в ПМР нет системы power-sharing, которая институционально поддерживала бы баланс между этническими группами, а претензии лояльных властям этнических организаций на представительство «своих» групп можно поставить под вопрос (Protsyk, 2012: 179). Массовую поддержку приднестровской государственности со стороны разных этнических групп можно было бы объяснить тем, что авторитарный режим обладает значительными ресурсами доминирования, в первую очередь эффективными репрессивными механизмами (Troebst, 2004). Подобное объяснение можно поставить под вопрос как достаточное, по крайней мере, из-за двух обстоятельств. Во-первых, правящий режим в ПМР не монолитен; в его рамках возможна внутриэлитная конкуренция, что показали, в частности, президентские выборы 2011 г., в результате которых победу одержал оппозиционный кандидат. Во-вторых, оппозиция режиму и мобилизация на этнической основе оказываются в принципе возможными, хотя и вызывают сильное давление со стороны властей. Это иллюстрирует, в частности, существование с начала 1990-х гг. на территории ПМР школ, подчиняющихся Министерству обра-

зования Республики Молдова с преподаванием на молдавском языке на основе латинского алфавита, при том что такая комбинация фактически запрещена приднестровским законодательством. Число учащихся в этих школах меньше, чем в школах под юрисдикцией ПМР с преподаванием молдавского языка, и как администрации школ, использующих латинский шрифт, так и родители учеников сталкиваются с сильным давлением вплоть до задержаний и погромов (Hammarberg, 2013: 37; Молдавские школы, 2012). Тем не менее школы и группы их поддержки в Приднестровье продолжают существовать и действовать более 20 лет.

Исследования приднестровского движения за независимость начала 1990-х гг. показали, что массовая мобилизация населения проходила не по этническим, а по социальным линиям вокруг крупных предприятий Левоберега (Mason, 2009: 160–162). Характер политической, а затем и в буквальном смысле военной мобилизации определяли по меньшей мере три обстоятельства. Во-первых, произошла быстрая маргинализация структур Коммунистической партии, которая была дискредитирована с двух сторон – как коррумпированная и консервативная организация, препятствовавшая «обновлению», и как союзник молдавских и прорумынских националистов (Mason, 2009: 164–165). Во-вторых, большим весом, чем собственно территориальные организации КПСС, обладали предприятия союзного подчинения, расположенные на молдавском Левобережье (Толкачева, 2004: 94–97; Sojocar, 2006: 263). Их руководство (из которого в значительной степени формировалась правящая номенклатура советской Молдавии) и созданные при его поддержке Советы трудовых коллективов сумели стать фактически параллельным правительством и сформировать вокруг предприятий «инфраструктуру власти», если использовать термин М. Манна (Mann, 1984). В-третьих, по стечению обстоятельств сельское население, которое было в значительной степени молдавским по составу, проявило пассивность и в основном осталось в стороне от событий (King, 1999: 183; Protsyk, 2009: 10).

В результате можно говорить, что мобилизация происходила с привлечением «административного ресурса» вокруг промышленных предприятий и их трудовых коллективов. При этом нельзя утверждать, что политическая активность не имела отношения к этничности. Мобилизация была ответом на начало процесса «национализации» Молдовы, когда та была еще в составе СССР, и в частности на изменение языкового законодательства и попытки ограничить сферу применения русского языка (King, 1999: 178–208). Движение, которое привело к созданию ПМР, стремилось выработать идеологическую и институциональную формулу сосуществования разных этнических групп и языков в регионе, и по результатам более чем двадцатилетней истории непризнанного государства можно утверждать, что эта задача была решена. Другими словами, политический конфликт вокруг языковых и этнических вопросов привел к формированию государственности, эта государственность и лежащая в ее основе социальная

система опираются на патронаж и развитые клиентелы – людей, зависимых от государственного аппарата и местных финансово-промышленных корпораций, но эти отношения не означают разделения населения по этническому признаку, хотя идеологическая база легитимности режима включает в себя отчетливое этнополитическое измерение.

В некотором отношении похожий феномен наблюдался в России. Как показал ряд исследований последних лет, этнические движения конца 1980-х – начала 1990-х гг. в российских республиках мобилизовались и направлялись руководством регионов, которое стремилось расширить базу собственной поддержки и получить в свое распоряжение новый политический инструмент (Михайлов, 2004; Giuliano, 2006). Другие общественные движения в тот же период встречали сопротивление сверху и развития не получили; когда же республиканские режимы консолидировались, местные этнические движения были либо лишены административного ресурса (это касается, главным образом, их радикальной части), либо встроены в систему власти.

В качестве еще одного также показательного явления могут рассматриваться формальные организации меньшинств (в большинстве своем – этнокультурные общества). Во всех постсоветских странах (кроме, вероятно, Туркмении) существуют многочисленные этнические организации. Их вовлеченность в политику в смысле выдвижения требований, касающихся основ официальной языковой и этнической политики, имевшая место в начале 1990-х гг., впоследствии сократилась или сошла на нет. Ссылки на авторитарные тенденции в большинстве этих стран, будучи, безусловно, справедливыми, также не выглядят как достаточные объяснения. В частности, этнокультурные организации в России, за единичными исключениями, выражают лояльность региональным и федеральным властям по всем вопросам, по которым имеют возможность высказаться. Это можно объяснить жестким административным контролем, но в 1990-е гг. при гораздо более либеральном режиме эти же организации демонстрировали такую же модель поведения. Этнокультурные общества, если их отделить от политических партий и правозащитных организаций, опирающихся на меньшинства, в таких государствах с относительно высоким уровнем обеспечения политического плюрализма и гражданских свобод, как страны Балтии, Молдова, Украина, Грузия, также показывают высокую степень лояльности предложенной правительствами повестке «национализации».

Особенно показательны в этом ряду организации, создаваемые при поддержке и патронаже официальных властей, – так называемые «съезды народов» и многоэтничные ассамблеи. Первые существуют в основном в России; в числе «съездов» здесь рассматриваются только этнические организации, формируемые на основе массовых избирательных процедур и существующие на постоянной основе, но не разовые мероприятия (Осипов, 2012а). В России на регулярной основе более 15 лет существовали или существуют 13 этнических съездов (Все-

мирный курултай башкир, Всемирный конгресс татар, Конгресс коми народа и др.), из них 11 представляют или представляли так называемые «титульные» национальности российских республик. «Съезды» или «конгрессы», оставаясь неправительственными организациями, репрезентируют себя как высшие представительные структуры «своих» этнических групп в силу того, что делегаты «съездов» как «общенародных» ассамблей избираются в теории всеми желающими, относящимися к соответствующей группе. Как правило, выборы делегатов проходят по двухступенчатой схеме: избиратели соответствующей этнической принадлежности, члены их семей, а также все, участвующие в движении, могут принять участие в предвыборных собраниях и проголосовать за выборщиков; в свою очередь региональные конференции выборщиков избирают делегатов на съезд. Съезд в значении разовой ассамблеи собирается, как правило, при участии региональных властей и формирует постоянные органы «съезда» в значении движения. В долгой истории российских «съездов» примечательно то, что они лояльны властям (более того, обычно поддерживаются и финансируются властями) и никогда не служили площадками для оппозиционной деятельности; по крайней мере, такие попытки неизвестны (Осипов, 2012а).

Многоязычные коалиции начали формироваться «сверху» в России и Казахстане в середине 1990-х гг.; в России были созданы вначале региональные ассамблеи народов, затем федеральная Ассамблея народов России⁴. В Казахстане при непосредственном участии Администрации Президента была сформирована Ассамблея народов Казахстана (с 2007 г. – Ассамблея народа Казахстана)⁵. Если в России федеральная и региональные ассамблеи являются общественными организациями, членами которых состоят этнокультурные общества и в порядке исключения физические лица, то казахская общенациональная Ассамблея работает как государственный орган, члены которого назначаются президентом страны. Аналогии подобных органов, совмещающие российские и казахские черты, есть также в Беларуси и Кыргызстане. В Беларуси при Уполномоченном по делам религий и национальностей действует Межэтнический консультативный совет⁶. В его состав входят только назначаемые представители (как правило, руководители) общенациональных этнокультурных обществ, при том что одну национальность представляет только одна организация. В Кыргызстане есть Ассамблея народов Кыргызстана, состоящая из руководителей национальных этнокультурных обществ (также по принципу: одна национальность – один представитель), а также трех местных многонациональных клубов; кроме того, по должности в нее входят несколько официальных должностных лиц⁷.

Аналоги таких структур есть и в других постсоветских государствах, где в их отношении прослеживается меньшая степень государственного диктата. Как правило, в большинстве этих стран созданы консультативные структуры типа советов или круглых столов по делам меньшинств; а этнокультурные общества

формируют свои собственные независимые от государства коалиции на общенациональном и региональном уровнях. В частности, в Молдове при Бюро межэтнических отношений действует Консультативный совет, в который входит более ста этнических организаций⁸. В Украине есть четыре общенациональные ассоциации этнических организаций; подобные же ассоциации создаются и на областном уровне, например в Одесской области. Представители этих же организаций обычно участвуют в консультативных советах при органах законодательной или исполнительной власти.

При всех формальных отличиях между многоэтническими коалициями и консультативными советами и при различиях в положении и интересах разных входящих в них организаций, как правило, эти структуры всегда проявляют лояльность в отношении повесток, предлагаемых государством, и никогда не используются в качестве основы для публичных кампаний или публичного протеста. Причины устойчивости и массовой распространенности этих организаций, так же как и «съездов народов», и просто этнокультурных обществ, остаются под знаком вопроса, поскольку детальных исследований, показывающих механизмы формирования и деятельности таких структур, пока не проводилось.

На данный момент в качестве правдоподобной гипотезы, не противоречащей имеющимся данным, можно предложить двухступенчатую схему патрон-клиентских отношений. Для руководства этих организаций (представленного предпринимателями, действующими или отставными чиновниками, политиками или деятелями культуры) их формальный статус означает дополнительный канал коммуникации с публичной властью и дополнительные возможности лоббирования. Но эти возможности предоставляются только в обмен на лояльность, что требует полного согласия с предлагаемыми повестками и протоколами и полного исключения политизации в смысле заявления несанкционированных или противоречащих используемому протоколу требований. В свою очередь, руководители этнокультурных организаций формируют собственные клиентелы, которые могут использовать свое участие в этих сетях для решения частных проблем. При этом получение дополнительных возможностей для социальной мобильности и накопления социального капитала обусловлено лояльностью патрону и той линией поведения по отношению к вышестоящей власти, которую тот выбирает, т.е., как правило, лояльности существующему порядку. Это и позволяет объяснить отсутствие или слабость независимых движений на этнической основе и лояльность формальных организаций меньшинств официальной власти. Этничность элитных групп выступает здесь как ресурс, конвертируемый в социальный капитал благодаря включенности в патронажные отношения с государственными структурами; организованная активность на этнической основе развивается только в обмен на политическую лояльность.

Аналогичный механизм выстраивания двухуровневой лояльности и двухуровневого патронажа можно видеть в рамках партийных систем, особенно

там, где политические партии играют роль каналов мобильности и источника дополнительных «политических» и «административных» ресурсов. Люди, как правило, успешные предприниматели, являющиеся по происхождению представителями меньшинств, ищут возможности укрепить позиции своего бизнеса путем вхождения в структуры законодательной и представительной власти. Предприниматель фактически покупает место в избирательном списке партии, и политические партии охотно идут на такое, предполагая получение дополнительной спонсорской помощи и мобилизации соответствующего «этнического» электората. Сам предприниматель, получая депутатский мандат, использует «этнический» ресурс в «большой» политике, как правило, в тех рамках, которые допустимы с точки зрения партийного руководства, но не тех, которые требует защита «этнических» интересов. В свою очередь, доступ к политическому или административному ресурсу позволяет выстраивать «этническую» клиентулу из людей, которые будут поддерживать этнически «своего» депутата, ожидая от него благоприятного для себя поведения на основе этнической солидарности. Подобные отношения выстраиваются, в частности, в рамках политических партий России, Украины, Молдовы и балканских стран (Protsyk & Matichescu, 2011; Schlegel, 2014).

Выше речь шла об отношениях индивидуальной лояльности или, в терминологии Эрдманна и Энгеля, «клиентизма» (Erdmann & Engel, 2007: 107). Какие возможности открывает рассмотрение из перспективы «патронажа», т.е. неопатриониальных механизмов распределения ресурсов и власти между сегментами населения и соответственно лояльности последних? Здесь мы тоже сталкиваемся с ограниченностью доступного эмпирического материала, если пытаемся выйти за рамки чисто спекулятивного предположения, что ресурсы распределяются между этническими группами, выступающими в этой связи в качестве своеобразных социальных классов. Если принимать в расчет только эмпирические исследования, то оказывается, что эту тему отчасти затрагивают при описании социальной мобильности в «национализирующихся» государствах и обществах и при анализе социальных сетей мигрантов. На основе имеющихся исследований и наблюдений можно утверждать, что этническая сегментация прослеживается в ограниченном круге ситуаций, условно, в верхних и нижних социальных стратах. С одной стороны, так называемые «титульные» этнические группы оказываются непропорционально представленными в управленческой и политической элите (иногда также бизнесе и многих престижных профессий) ряда новых независимых государств (eds Vetik & Helemäe, 2011) и некоторых республик в составе России (Михайлов, 2004). С другой стороны, некоторые «новые меньшинства» или мигрантские группы концентрируются в определенных сегментах рынка труда – обычно в неквалифицированных и низкооплачиваемых секторах сферы услуг и строительства (Мукомель, 2005; Зайончковская (ред.), 2009). Здесь возникает вопрос, можно ли рассматривать этнические группы в

качестве расширенных клиентел и адресатов распределительной политики в рамках неопатримониальной модели.

Имеющиеся данные, скорее, если и позволяют рассматривать рекрутирование по этническому признаку как часть политики этнического патронажа, то только в ограниченном списке ситуаций. Открытая и эмпирически доказуемая этническая дискриминация, тем более проводимая средствами государственного аппарата, остается редким явлением (Осипов, 2012b: 64–101, 150–164). Не пропорционально высокая представленность «титულных» этнических групп в ряде российских республик объясняется в первую очередь рекрутированием кадров на основе персональных сетей; так как номенклатура в республиках в советское время целенаправленно формировалась так, чтобы обеспечивать численный перевес «титулным» национальностям, этот паттерн продолжает устойчиво воспроизводиться и после распада советской системы (Сергеев & Салагаев, 2010). В данной ситуации мы действительно можем говорить о проявлении неопатримониальных отношений, но, скорее, на уровне персональных клиентел, а не «классового» патронажа. Там, где наблюдается различная социальная мобильность разных этнических групп, в частности в доступе на рынок труда, ее проще объяснять сетевыми эффектами и эффектами накопления социального капитала, нежели редистрибутивной политикой правящей верхушки. Напротив, есть больше оснований утверждать, что неопатримониализм как политический режим и социальная система на уровне средних социальных страт ограничивает этническую сегментацию общества, так как унаследованные от советского времени профессиональные и территориальные деления не совпадают с этническими, а клиентелы формируются на профессиональной, политической и территориальной основе.

Следующий вопрос касается институционализации этничности в политическом и правовом поле. Институционализацию можно понимать как возникновение и консолидацию институтов, или, если использовать определение Самюэля Хантингтона, «процесс, посредством которого организации и процедуры приобретают ценность и устойчивость» (Хантингтон, 2004: 32). Если избегать реификации и не стремиться априори рассматривать этническую проблематику как отношения между «общинами», то институционализацию этничности соответственно можно определять как формирование устойчивых правил, регулирующих коллективные действия, включая способы репрезентации и легитимации, связанные с этническими делениями.

Чертой неопатримониалистских режимов (а по мнению некоторых авторов, и сущностной характеристикой, см.: Erdmann & Engel, 2007: 114) является синтез формальных и неформальных «правил игры», и это обстоятельство позволяет объяснить особенности постсоветской институционализации этничности в политико-правовом поле. Как правило, она характеризуется, во-первых, «размытой легальностью» (Cohn, 2001), т.е. формальными нормами, лишенными

определенного содержания, открытыми для интерпретаций, не выполняющими регулятивных функций или стимулирующими внеправовое поведение. Во-вторых, формальные институты могут рассматриваться как внешняя оболочка властных отношений, связанных с определением роли этничности и этническими делениями, или внешний «перформанс». При этом формальные институты, структурирующие политику управления этническим разнообразием, относятся преимущественно к области так называемого «символического производства» (в терминах Бурдьё), или производства смыслов (Bourdieu, 1993).

На практике это означает, что даже развитый корпус декларативного законодательства о равенстве и недискриминации, о языках, культурной политике, структурах территориальной автономии оставляет широкую свободу усмотрения правоприменителям, руководствующимся собственными представлениями о целесообразности и неформальными договоренностями элитных групп. Этим же объясняется внешнее сходство этнокультурной политики и соответствующего законодательства в постсоветских странах с системой защиты меньшинств, используемой «старыми» европейскими демократиями и продвигаемой международными организациями.

Имитационный характер законодательства и ограниченная действенность формальных институтов тесно связаны с феноменом «системного лицемерия» – разрывом между риторикой и действиями организаций, прежде всего публичной власти, или противоречиями между деятельностью разных частей одной организации (Brunsson, 2009). Здесь можно отметить такой феномен, как разрыв между формальным законодательством, утверждающим приоритет единственного государственного языка, и неформализованным регулированием языковой ситуации, которое допускает широкое двуязычие (т.е. широкое использование русского языка как «языка межнационального общения»).

При этом можно говорить, прежде всего, о своеобразном синтезе рационально-легальной и харизматической форм легитимации публичных институтов, который был свойственен советской системе и наблюдается в постсоветских странах. Этот синтез проявляется в том, что действия власти оправдываются не их соответствием формальной, рационально обоснованной процедуре, но направленностью на достижение целей, значимость которых воспринимается как данность и не ставится под вопрос (Rigby, 1990: 86–87, 164, 169). Наряду с этим происходит возврат к «традиционной» (в веберовском смысле) легитимации публичных институтов, которая обычно является атрибутом патримониального управления. Социальные институты не рационализируются, а воспринимаются как данность или как феномены, подчиняющиеся квазиестественным законам. Этим, например, можно объяснить слабую отрефлексированность в общественном сознании и общее приятие идей этнической государственности (в частности, «этнического федерализма» российского образца) или этнических иерархий с предоставлением (по крайней мере, символических) привилегий

«коренным» или «титულным» этничностям или отнесение этнической политики к области узко понимаемой «культуры» или абстрактного «этнического развития». Возрождение традиционной легитимации в условиях современности отметил еще К. Джовитт на примере советской внутренней политики, обозначив этот феномен как «неотрадиционализм» (Jowitt, 1992: 121–158).

Всеми перечисленными выше обстоятельствами объясняются успехи «национализирующей политики» (Brubaker, 2012), т.е. политики создания «национальных» в этническом смысле государств с обеспечением символических и институциональных преимуществ «титулным» этническим группам. Такая политика в большинстве постсоветских стран, а также республик России практически не вызывает контрмобилизации, и подобную ситуацию можно интерпретировать как успех «традиционной» легитимации, кооптации лидеров меньшинств с помощью патронажных механизмов и политики обмена ресурсами на лояльность.

В результате можно сделать вывод о том, что такая теоретическая рамка, как неопатримониализм, открывает новые возможности для изучения этнических отношений. Эти возможности могут быть реализованы при двух условиях: (1) при постоянном учете того, что неопатримониализм означает выстраивание системы контроля и гегемонии на основе разных властных инструментов и стратегий, (2) и при условии отказа от «группизма» и априорного рассмотрения этнических групп в качестве основы патрон-клиентских сетей и адресатов распределительной политики. Изучение неопатримониализма как социального порядка позволяет учесть особенности формирования клиентел и политики распределения ресурсов в целях обеспечения лояльности. Особенности неопатримониализма как политического режима дают возможность понять механизмы политической мобилизации, кооптирования этнических элит, институционализации этничности и формирования системы гегемонии в рамках «национализирующихся» или «многонациональных» в зависимости от местного контекста государств.

Важный исследовательский вопрос относится к возможностям неопатримониалистских механизмов в обеспечении стабильности и основных прав лиц, относящихся к меньшинствам. С учетом того, что в условиях неопатримониальных режимов рационально-легальные институты не обязательно являются только имитациями или внешними оболочками неформальных отношений, но обладают собственной функциональностью (Bach, 2011; Erdmann & Engel, 2007), формальные нормы и организационные структуры, призванные обеспечивать равенство граждан перед законом, поддерживать культуры меньшинств и создавать каналы коммуникации властей с этническими активистами, в принципе могут исполнять эти задачи там, где это не затрагивает реальный политический процесс, который в условиях неопатримониализма означает «борьбу фракций неопатримониалистской бюрократии за монополизацию тех или иных

сегментов клиентарно-патримониальных сетей, их изменение и перераспределение» (Фисун, 2006: 172).

Другой вопрос касается того, насколько подобные неопатримониалистские отношения, определяющие институционализацию этничности, уникальны и могут ли они проявляться вне постсоветского контекста. В этой связи важна мысль М. Вебера о том, что механизмы патримониального господства и, в частности, традиционной легитимации могут возникать и действовать в разных социальных условиях (Чайко, 2013: 137). Можно предположить, что отношения внутри формальных этнических организаций и их взаимодействия с органами публичной власти и в более широких географических рамках могут включать патрон-клиентские сети и обмен ресурсов на лояльности. Сопутствующими обстоятельствами для этих моделей могут быть неформальные договоренности, аналоги постсоветского «системного лицемерия» и варианты «традиционной» легитимации публичных институтов.

Литература

- Абдулатипов, Р.Г. Этнонациональная политика в Российской Федерации: концепции, практика, реализация, перспективы. М.: Классик Стиль, 2007.
- Антонюк, О.В. Основы этнополітики. Київ: МАУП, 2005.
- Аствацатурова, М.А. Диаспоры в Российской Федерации. Формирование и управление. Северо-Кавказский регион. Пятигорск, Ростов н/Д.: Северо-Кавказская академия государственной службы, 2002.
- Афанасьев, М.Н. Клиентелизм и российская государственность, 2-е изд. М.: МОНФ, 2000.
- Бекірова, Г. Основні події та тенденції в розвитку кримськотатарського національного руху, громадських і громадсько-політичних організацій кримських татар (серпень 2010 – жовтень 2011 року) // Ю. Тищенко (ред.). Політична мапа Криму: 2010–2011. Процеси і тенденції. Київ; Сімферополь: Агентство «Україна», 2012. С. 37–57.
- Вебер, М. Традиционное господство // Прогнозис. 2007. № 2. С. 150–165.
- Восленский, М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: МП «Октябрь», «Советская Россия», 1991.
- Гайдено, П.П., Давыдов, Ю.Н. Проблема бюрократии у Макса Вебера // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 174–182.
- Гельман, В.Я. «Подрывные» институты и неформальное управление в современной России // Полития. 2010. № 2(57). С. 6–24.
- Дмитриев, А.В. Миграция: конфликтное измерение. М.: Альфа-М, 2006.
- Дробижева, Л.М. (ред.). Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность. М.: Academia, 2002.
- Дробижева, Л.М., Аклаев, А.Р., Коротеева, В.В., Солдатова, Г.У. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М.: Мысль, 1996.
- Зайончковская, Ж.А. (ред.). Иммигранты в Москве. М.: Три квадрата, 2009.
- Зорин, В.Ю. Государственная национальная политика в России и современность. Сер. Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 225. М.: ИЭА РАН, 2011.
- Капустин, Б.Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // Политические исследования. 2001. № 4. С. 6–26.

- Кордонский, С.Г. Сословная структура постсоветской России. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2008.
- Масловский, М.В. Теория бюрократии Макса Вебера и современная политическая социология. Нижний Новгород: [без. изд.], 1997.
- Михайлов, В. Республика Татарстан: демократия или суверенитет? М.: ПМЛ Ин-та Африки РАН, 2004.
- Молдавские школы с латинской графикой в Приднестровье. История вопроса, текущее положение, анализ и рекомендации. Отчет. Ноябрь 2012. ВКНМ ОБСЕ, Гаага. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <<http://www.osce.org/ru/moldova/99062>>. Дата доступа: 20.02.2014.
- Мукомель, В.И. Миграционная политика России. Постсоветские контексты. М.: Диполь-Т, 2005.
- Осипов, А.Г. Автономия, представительство, участие: феномен «съездов народов» в России // Мир России. 2012. № 4. С. 111–131.
- Осипов, А.Г. Этничность и равенство в России: особенности восприятия. М.: Сова, 2012.
- Панов, П.В. Политический порядок и проблема воспроизводства власти: институт премьера // ПОЛИТЭКС. 2010. № 3. С.19–33.
- Поцелуев, С.П. «Нация» как незаконный и анонимный концепт (к вопросу о национальном строительстве в постсоветских государствах де-факто) // Философия права. 2013. № 6(61). С. 90–94.
- Рябов, А. Промежуточные итоги и некоторые особенности постсоветских трансформаций // Polit.ru, 12 августа. 2010. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <http://www.polit.ru/article/2010/08/12/riabov/>. Дата доступа: 20.02.2014.
- Сергеев, С.А., Салагаев, А.Л. Новые маски, старые роли: трансформация провинциальной номенклатуры // ПОЛИТЭКС. 2010. № 2. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <http://www.politex.info/content/view/694/30/>. Дата доступа: 20.02.2014.
- Теобальд, Р. Пагримониализм // Прогнозис. 2007. № 2. С. 166–176.
- Тишков, В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013.
- Толкачева, А.В. Советское институциональное наследие и постсоветские конфликты: случаи Крыма и Приднестровья // Политическая наука. 2004. № 3. С. 86–103.
- Туровский, Р. Принесенные ветром // Политический журнал. 2005. № 29(80), 12 сентября. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&issue=119&tek=4183&dirid=67>. Дата доступа: 20.02.2014.
- Фисун, А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. Харьков: Константа, 2006.
- Фурман, Д. Общее и особенное в политическом развитии постсоветских // Пути российского посткоммунизма. М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. С. 234–272.
- Хлопин, А.Д. Гражданское общество или социум клик: российская дилемма // Полития. 1997. № 3. С. 7–28.
- Холодковский, К.Г. К вопросу о политической системе современной России // Политические исследования. 2009. № 2. С. 7–22.
- Чайко, И.В. Проблемы исследования режимных трансформаций, или неопатримониальная альтернатива транзитологии // Политическая концептология. 2013. № 1. С. 131–143.

- Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект-пресс, 1999.
- Bach D.C. Patrimonialism and neopatrimonialism: comparative trajectories and readings // *Commonwealth & Comparative Politics*. 2011. Vol. 49. № 3. P. 275–294.
- Blakkisrud, H., & Kolsto, P. From Secessionist Conflict Toward a Functioning State: Processes of State- and Nation-Building in Transnistria // *Post-Soviet Affairs*. 2011. Vol. 27. № 2. P. 178–210.
- Bourdieu, P. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. London: Polity Press, 1993.
- Bratton, M. & van de Walle, N. Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in Africa // *World Politics*. 1994. Vol. 46. Issue 4. P. 453–489.
- Brubaker, R. Ethnicity without groups // *Archive Europeenne de Sociologie*. 2002. Vol. XLIII. № 2. P. 163–189.
- Brubaker, R. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States // *Ethnic and Racial Studies*. 2012. Vol. 34. № 11. P. 1785–1814.
- Brunsson, N. *Reform as Routine. Organizational Change and Stability in the Modern World*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Carothers, T. The End of the Transition Paradigm // *Journal of Democracy*. 2002. Vol. 13. № 1. P. 5–21.
- Cohn, M. Fuzzy Legality in Regulation: The Legislative Mandate Revisited // *Law and Policy*. 2001. Vol. 23. № 4. P. 469–497.
- Cojocaru, N. Nationalism and Identity in Transnistria // *Innovation: The European Journal of Social Science Research*. 2006. Vol. 19. № 3–4. P. 261–272.
- Eisenstadt, S. *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*, Sage, Beverly Hills, CA, 1973.
- Erdmann, G., & Engel, U. Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept // *Commonwealth & Comparative Politics*. 2007. Vol. 45. № 1. P. 95–119.
- Gill, G. *The origins of the Stalinist political system*. London: Macmillan press, 1990.
- Giuliano, E. Secessionism from the Bottom-Up: Democratization, Nationalism, and Local Accountability in the Russian Transition // *World Politics*. 2006. Vol. 58. № 2. P. 276–310.
- Hammarberg, T. Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova, 14 February 2013. United Nations. [Электронный ресурс.] Режим доступа: http://www.un.md/key_doc_pub/Senior_Expert_Hammarberg_Report_TN_Human_Rights.pdf. Дата доступа: 23.06.2013.
- Hanson, S. *Post-Imperial Democracies: Ideology and Party Formation in Third Republic France, Weimar Germany, and Post-Soviet Russia*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.
- Hughes, J., & Sasse, G. (eds). *Comparing Regional and Ethnic Conflicts in Post-Soviet Transition States // Ethnicity and Territory in the former Soviet Union / eds. J. Hughes, & G. Sasse*. London: Frank Cass, 2002. P. 1–35.
- Jowitt, K. *New world disorder: The Leninist extinction*. Berkeley, CA, Univ. of California press, 1992.
- Jowitt, K. Soviet Neotraditionalism: The Political Corruption of a Leninist Regime // *Soviet Studies*. 1983. Vol. 35. № 3. P. 275–297.
- King, Ch. *The Moldovans: Romania, Russia, and the politics of culture*. Stanford, CA. Hoover institution press: Stanford Univ., 1999.

- Kolstø, P. The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States // *Journal of Peace Research*. 2006. Vol. 43. № 6. P. 723–740.
- Kuzio, T. Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple? // *Politics*. 2001. Vol. 21. № 3. P. 168–177.
- Kymlicka, W., & Opalski, M. (eds.). *Can Liberal Pluralism Be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2001.
- Levitsky, S., & Way, L.A. The Rise of Competitive Authoritarianism // *Journal of Democracy*. 2002. Vol. 13. № 2. P. 51–65.
- Ledeneva, A. *Russia's Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Mann, M. The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results // *European Journal of Sociology*. 1984. Vol. 25. № 2. P. 185–213.
- Mason, A.J. Internationalist mobilization during the collapse of the Soviet Union: the Moldovan elections of 1990 // *Nationalities Papers*. 2009. Vol. 37. № 2. P. 159–176.
- O'Donnell, G. Illusions about Consolidation // *Journal of Democracy*. 1996. Vol. 7. № 2. P. 34–51.
- Protsyk, O. Representation and Democracy in Eurasia's Unrecognized States: The Case of Transnistria // *ECMI Working Paper*. № 40, June 2008. Flensburg, European Centre for Minority Issues, 2009.
- Protsyk, O. Secession and hybrid regime politics in Transnistria // *Communist and Post-Communist Studies*. 2012. Vol. 45. № 1–2. P. 175–182.
- Protsyk, O. and Matichescu, M.L. Clientelism and Political Recruitment in Democratic Transition: Evidence from Romania // *Comparative Politics*. 2011. Vol. 43. № 2. P. 207–224.
- Rigby, T.H. *The Changing Soviet System: Mono-Organizational Socialism from Its Origins to Gorbachev's Restructuring*. Aldershot, Edward Elgar, 1990.
- Roper, S.D. Regionalism in Moldova: The Case of Transnistria and Gagauzia // *Regional & Federal Studies*. 2001. Vol. 11. № 3. P. 101–122.
- Roth, G. Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire-building in the New States // *World Politics*. 1968. Vol. 20. № 2. P. 194–206.
- Schlegel, S. The state, the border, and the urge to choose a clear-cut ethnic identity in Ukrainian Bessarabia // Paper presented at the 1st World Congress of the Association for Borderlands Studies (ABS) «Post-Cold War Borders: Global Trends and Regional Responses», 9–13 June 2014. Joensuu, Finland; St. Petersburg, Russia, 2014.
- Theobald, R. Patrimonialism // *World Politics*. 1982. Vol. 34. № 4. P. 548–559.
- Troebst, S. The «Transnistrian Moldovan Republic», 1990–2002: From Conflict-Driven State-Building to State-Driven Nation-Building // *European Yearbook of Minority Issues*. 2004. Vol. 2. P. 5–30.
- Vetik, R. & Helemäe, J. (eds.). *The Russian Second Generation in Tallinn and Kohtla-Järve. The TIES Study in Estonia*. IMISCOE Reports. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
- Ware, R.B. & Kisriev, E. *Dagestan: Russian Hegemony and Islamic Resistance in the North Caucasus*, M. E. Sharpe, Armonk, NY and London, 2010.

Примечания

- ¹ Здесь следует отметить, что Г. Эрдманн и У. Энгель проводят различие между «клиентизмом» как отношениями персональной лояльности и зависимости и «патронажем» как

отношениями перераспределения ресурсов в пользу тех или иных групп (Erdmann & Engel, 2007: 107).

² Точнее, у М.Н. Афанасьева речь идет об «этнических» республиках в составе России (Афанасьев, 2000: 189–191, 208–209).

³ Здесь можно пренебречь различиями в содержании категорий «патронаж» и «клиента».

⁴ Описание организации приведено на ее официальном сайте: www.anrorg.ru.

⁵ Описание Ассамблеи и ее функций есть на официальном сайте организации: <http://www.assembly.kz/pravovaya-baza-ank.html>.

⁶ Описание приводится на официальной веб-страничке аппарата Уполномоченного по делам национальностей и религий, см.: http://www.belarus21.by/ru/main_menu/nat/consultation_centre.

⁷ См. официальный веб-сайт: <http://www.assembly.kg/>.

⁸ <http://www.bri.gov.md/index.php?pag=sec&id=91&l=ru>.